



С. К. МАКОВСКИЙ

Владимир Соловьев и Георг Брандес

Бывают воспоминания, охватывающие иногда и недолгий срок (в данном случае какой-нибудь месяц), но в них как бы отражается целая эпоха, эпоха не только личной жизни, а всего вдаль отошедшего прошлого... Этот месяц, полвека назад, в затишь пансиона Рауха близ Иматры, для меня одно из таких воспоминаний.

В девяностые годы (я вспоминаю осень 1895 года), и не только в России, подводились итоги истекавшему столетию и вместе подвергались пересмотру самые основы духовного бытия как в области философской и религиозно-моральной, так и в духовной области. В этом «взгляде назад», конечно, таился и осуждающий приговор. В связи с утратой веры в исчерпывающую правду положительного знания оказался под подозрением и весь благодушный реализм предыдущих десятилетий: потянуло к чисто лирическому самоутверждению и ко всяческой фантастике, что в свою очередь в глазах «здравомыслящего» большинства придало «концу века» характер декаданса, упадка. Макс Нордау обрушил свою «Entartung»¹ на новаторов всех оттенков, зачислив в «вырожденцев», упадочников, и Гюисманса, и Оскара Уайльда, и Ницше, и Льва Толстого, и Метерлинка.

Этот здравомыслящий пессимизм не был, однако, преобладающим настроением. Преобладали, напротив, окрыленные надежды в передовых кругах образованного общества. Новый романтический ветер, опрокидывая по пути недавних идолов, увлекал куда-то к заповедным далям просвещенное меньшинство, делавшее «культурную погоду» эпохи. Горечь и даже отчаяние иных молодых мыслителей возмещались эстетическими и философскими дерзаниями — от них приятно кружилась голова. Угасала вера в объективную истину и метафизические догматы, зато опьянение субъективизмом à outrance² давало выход никогда прежде не мерещившейся творческой свободе.

В петербургских и московских кружках и гостиных (отстававших, по обыкновению, лет на двадцать от Парижа) этим западным ветром повеяло прежде всего из «Северного вестника», под редакцией Любови Гуревич, где царил Аким Львович Волынский (Флекснер)³. В то время дружила с ним молодая чета Мережковских. К Волынскому обращены строфы Зинаиды Гиппиус, появившиеся в «Северном вестнике»:

Небеса унылы и низки,
 Но я знаю, дух мой высок.
 Мы с тобой так странно близки,
 И каждый из нас одинок...⁴

Вместе, втроем, они путешествовали по Италии, после чего Волынский поспешил издать своего «Леонардо да Винчи». Это обстоятельство навсегда поссорило его с Мережковскими⁵, почитавшими книгу Волынского за плагиат.

Я лично сошелся с Волынским значительно позже. Если упоминаю о нем сейчас, то потому, что умственная атмосфера русского конца века «изошла» в известной степени от этого писателя, — он первый восстал на нашу радикальную критику и взял под свою защиту литературный «модернизм» в годы, непосредственно предшествовавшие журналу «Мир искусства»⁶.

Время это совпало с первым проникновением в Россию ницшеанства: «Morgenröte», «Jenseits von Gut und Böse»⁷ и «Заратустру» случайно привез из Висбадена П. Д. Боборыкин, вскоре появилась в «Вопросах философии и психологии» статья о Ницше Преображенского⁸, она состояла из остроумно подобранных цитат и давала возможность ссылаться на слова немецкого философа, не читая его в подлиннике. Парадоксы Ницше заразили многих, хотя серьезного «продолжения» ницшеанства на русской почве и не случилось.

Рядом с Ницше из иностранных писателей властителями дум сделались еще Оскар Уайльд (томик которого в зеленом картонже «Intentions»⁹ тоже привез Боборыкин) и гигант Севера Ибсен, в особенности после того как за его пьесы принялся Художественный театр. И Ницше, и эстетством Уайльда особенно увлекались молодые художники, окружавшие Александра Бенуа и Дягилева¹⁰; отсюда влияние на них изощренного и извращенного Бирдслея, о котором я написал несколько позже статью¹¹ (она вошла в первый том моих «Страниц художественной критики»). Однако не меньше волновали, хотя и по-иному, «Сокровище смиренных» и «Театр для марионеток» молодого Метерлинка; его мистикой проникся наш зарождавшийся симво-

лизм. Литературные увлечения были эклектичны... Не надо забывать, что в это время как-то вдруг обнажились нравственные проблемы Толстого и Достоевского и предстали в новом свете и Пушкин, и возлюбленное Пушкиным детище царя-преобразователя: Петербург, гениальное «Петра творенье».

Вот из каких токов, иногда и противоречивых, сгустился тот петербургский «романтический ветер» конца века, о котором я говорю, причем я упоминаю, конечно, лишь о самом главном или, точнее, о том, что казалось мне тогда самым главным. Поэзия еще не обернулась в те дни «магией», какой она стала для поэтов-символистов. Только-только вышел первый сборник Бальмонта «Под северным небом»¹² (поэт вернулся из скандинавских фиордов, где «носились чайка, серая чайка с печальными криками...»¹³); «Стихи о Прекрасной Даме» изданы Блоком десятью годами позже, и уж за ними (кроме первой) прозвучали московские «Симфонии» Андрея Белого, который впоследствии в своих «Воспоминаниях о Блоке» так увлекательно рассказал об атмосфере нарождавшегося двадцатого столетия в связи с пророческими видениями Владимира Соловьева: «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету; мы все отдавались стихии грядущих годин, отдавались отчетливо слышанной в воздухе поступи нового века»¹⁴.

Но этот «шум» и «свет» в годы моего «Рауха» еще только претворялись в рифмованные строки юных декадентов, как называла большая публика всех писателей и художников-новаторов без разбора, — после того как Валерий Брюсов пролепетал свой коротенький «*Chef d'Oeuvre*»¹⁵ — название сборника стихов, над которым так потешался Владимир Соловьев (его пародии на декадентов, печатавшиеся чуть ли не в «Вестнике Европы», вызывали дружный отклик не в одних литературных кругах). Ранние стихи Мережковского, Минского, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба были тоже только «слишком ранние предтечи слишком медленной весны»¹⁶. Эти строчки Мережковского цитировались часто.

Романтический воздух накануне символизма был пропитан и музыкой... Кажется, не было в то время города более музыкального, чем Петербург (отчасти и Москва, благодаря Мамонтову и его опере¹⁷, с 95-го года). «Могучая кучка» получила наконец права гражданства. В Мариинском театре вырос русский репертуар. С легкой руки Антона Рубинштейна и затем графа Шереметева и Зилоти создались отличные симфонические оркестры¹⁸. Все европейские виртуозы считали долгом посетить северную столицу. Наше запоздалое вагнерианство также относится к

девятиностым годам: «за» и «против» Вагнера стало нескончаемой темой русских споров.

Как я рассказал уже в предыдущем очерке, для меня музыка, рядом с живописью, была родной стихией с детства.

Жена скрипача Л. С. Ауэра¹⁹, Надежда Евгеньевна, урожденная Пеликан, дружила с моей матерью; со старшими дочерьми Ауэр, Зоей и Надей, ровесницами мне и моей сестре, мы, что называется, росли вместе.

Близость к семейству Ауэр прервалась на несколько лет из-за отъезда нашей семьи за границу, но затем, по возвращении в Петербург, возобновилась, и тогда особенно тесно сошлись и я и сестра с Надеждой Евгеньевной. Она любила молодежь, да и сама была исключительно юна восторженной отзывчивостью на все «впечатления красоты». За несколько лет перед тем умер ее просвещеннейший друг, князь Александр Иванович Урусов²⁰, русский западник *pure sang*²¹ и знаток французской литературы, раздававший знакомым книжки с лаконичной надписью «Lisez Flaubert»²². Верная его завету, Н. Е. Ауэр была необыкновенно начитана во французской литературе (про нее говорили, что она умеет все вокруг «намагнитить» французскими писателями) и следила за каждым новым словом Парижа: она была единственной подписчицей в Петербурге самого передового парижского журнальчика того времени — «La Plume»²³. Это не мешало ей знать назубок и классиков, начиная с Ронсара и Монтеня.

В семье Ауэр, таким образом, царила не только музыка, но и французская книга. Надежда Евгеньевна читала и перечитывала своих любимцев неутомимо. К тому же смолоду она стала глохнуть, в сорок лет слышала совсем плохо, больше угадывала слова по движению губ — оттого перестала посещать концерты, вообще замкнулась у себя дома в обществе избранных французских авторов и немногих друзей — писателей по преимуществу. Своим едва слышным голосом, необыкновенным изяществом обращения и умением проникаться мыслью собеседников эта хрупкая, преждевременно увядающая, даже некрасивая, но изумительно очаровательная женщина приколдовывала к себе, когда этого хотела.

Одним из приколдованных был и Владимир Сергеевич Соловьев, которого я встречал у Ауэр. Они познакомились за границей, где-то в горах. Молодой философ, уже издавший свою докторскую диссертацию «Кризис западной философии», всех поражал тогда рассеянностью не от мира сего и приступами расточительности; ему случалось иногда от прилива щедрости вдруг

раздать все до сантима проводникам после прогулки в горах и затем остаться на неделю без гроша...

Надежде Евгеньевне невольно говорилось то, что другому не скажешь, она располагала к исповеди; душевную и умственную чуткость ее ценили не только друзья постоянные, имевшие возможность приходить к ней на огонек в любой вечер, — дружеские отношения с ней поддерживали и жившие вдали, балованные славой иностранцы, обменивались с ней «литературными» письмами и при первой возможности спешили опять встретиться. Помню, в одну из побывок моих в Париже, где проездом находилась Надежда Евгеньевна, я застал у нее двух таких друзей: Анатоля Франса и Клемансо.

Владимир Соловьев не раз поверял ей свои тайные видения. От нее не раз слышал я рассказы об этой «ненормальности» философа. Он был галлюциантом закоренелым. Еще девятилетним мальчиком в Москве, в 1862 году, на воскресной обедне видел он «Подругу Вечную», Софию Премудрость Божию, в виде «образа женской красоты» с «очами, полными лазурного огня», затем — ее же тринадцать лет спустя в Британском музее, будучи уже магистром философии и доцентом Московского университета, наконец — еще раз в пустыне близ Каира, куда он специально ездил, предчувствуя видение. Все это и рассказано им самим в поэме «Три свидания», стихами не всегда умелыми, но, несомненно, невыдуманными, глубоко искренними. С призраками он общался и позже, мертвые приходили к нему запросто. Занятый вопросом о соединении православной и католической церковью (сам как будто принадлежал к обеим одновременно), он разговаривал с тенями исторического прошлого, вступал с ними в богословские споры... Одной из теней была Зоя Палеолог, ставшая Софией по выходе замуж за Ивана Третьего, наследница византийских базилевсов, символ третьего Рима и посланница Ватикана, которым она воспитывалась в католической вере (после падения Царьграда), — посланница, предавшая, однако, как только вступила в московские пределы, и папу и папского легата.

Соловьев любил общество юнцов, шутил с ними, читал пародии на декадентов, рассказывал анекдоты, забывая свою обычную отчужденность. Мы любили его. Да и трудно было не любить, так бесконечно обаятельна была вся его «необыкновенность»...

Особенно почувствовал я это обаяние, встречаясь с ним изо дня в день в течение этого месяца, осенью 95-го года, у Рауха, где семейство Ауэр занимало отдельный флигель и куда как раз

приехал из Копенгагена один из иностранных друзей Надежды Евгеньевны — Георг Брандес.

Георг Брандес умер²⁴ четверть века назад, давно пережив свою славу, достигнув того большого возраста, когда смерть писателя, если писатель не мировой гений, вызывает недоумение: как — умер? только теперь? На восемьдесят шестом году жизни знаменитый датский критик давно не был властителем дум, но он был им долго. И для русских читателей — также. Несколькими годами раньше он уже приезжал в Россию и читал с успехом лекции о европейской литературе²⁵. Основное произведение, давшее ему международную известность, по-французски называлось, помнится, «*Les Grands courants du dix-neuvième siècle*»²⁶. В этот приезд он исправлял корректуру своего обширного критического труда о Шекспире²⁷. С Брандесом Н. Е. Ауэр связывала давнишняя дружба ума. Он приехал в пансион Рауха по ее зову.

У Рауха проживал и Владимир Соловьев. Ему нравилось это финляндское уединение, он говорил, что здесь как нигде работается; в пансионе он снимал годовую комнату для частых прилетов из Петербурга; писал в ту пору «Оправдание добра». Несколько отрывков я прослушал в его чтении на петербургской квартире Ауэр, — но тогда, у Рауха, Соловьев держал себя малообщительно в присутствии Брандеса... Случалось, его навещали друзья. В те дни появились московские гости: князь Сергей Трубецкой (автор «Логоса»)²⁸ и Лопатин, которого друзья называли Левушкой, — Соловьев подтрунивал над ним за какую-то его теорию о «семи душах».

Пансион Рауха был уголком, еще не захвачанным петербуржцами. Какие прогулки! Чистый сосновый воздух, располагавший к «мыслям возвышенным», живописные тропы вдоль извилистого озера, большого и печального. Но печаль была не унылая, а бодрящая... Или мне это казалось по молодости?

Впрочем, бодрящую прелесть пристоличной Финляндии одинаково отмечали самые разные петербуржцы. Дело в том, что — независимо даже от пейзажа и климатических свойств — Финляндия была немного «заграницей» для нас и дышалось в ней по-заграничному как-то свободнее, независимее. Вероятно, этим главным образом и вызывалось ощущение окрыленности, лишь только, бывало, очутишься по ту сторону финской границы в Териоках и начнут чередоваться маленькие чистенькие станции с прогуливающимися «к поезду» дачниками, с тесным буфетиком, где рюмка водки закусывалась горячим пирожком, и с непременно дребезжанием перронной арфистки или какого-нибудь при-

блудного шарманщика. В этом ощущении сказывалась вечная тяга наша, истинно российская, послепетровская тяга на Запад: Финляндия была передней «в Европу», и, несмотря на то что нас, русских, Финляндия не жаловала (в бобриковские времена), мы-то относились к ней с мечтательной благорасположенностью. У многих петербуржцев были свои летние дачи в Финляндии, но многие наезжали и зимой «отдохнуть» под Белым Островом или Выборгом в пансионах с прославленными шведскими закусками и поездками на бубенчатых «вейках»²⁹.

Веяло несомненно северной романтикой в этой столь прозаичной, в конце концов, и бедной стране («Стране тысячи озер», по слову Рунеберга³⁰). Была особая близость природы, мало заселенной, с бесконечным мелколесьем в брусничных зарослях и мхах, с высокими муравейными кучами, с бревенчатыми заборами и неисчислимыми меандрами шхер. И тишина была особая, летом — без птичьего гама, без мушиного гуда и деревенских гомонов среднерусской равнины, тишина северная, застылая, прерываемая только шумом быстрин и водопадов, тишина нелюдимая и вместе дружелюбная к человеку и «помогающая мыслям». С Финляндией не вязалась русская тоска; от нее пахло озоном и привлекала в ней... отдохновенность скромного благоустройства на европейский лад. Недаром так хорошо думалось в Финляндии Владимиру Соловьеву и так много внушала ему природа Финляндии. Вспоминаются строфы его «Саймы в полдень»:

Этот матово-светлый жемчужный простор
В небесах и в зеркальной равнине,
А вдали этот черный застывший узор —
Там, где лес отразился в пучине.
Если воздух прозрачный доносит порой
Детский крик иль бубенчики стада —
Здесь и самые звуки звучат тишиной,
Не смущая безмолвной отрады.

Или — из «На Сайме зимой»:

Вся ты укуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном затихнув, лежишь,
Над твоей гладью просторно-лучистой
Веет прозрачная белая тишь.

Неизгладимое впечатление произвела на меня Сайма, когда я впервые увидел огромное озеро, изузоренное островами в елях и сосенках. Острова покрыты сплошными сероватыми мхами, под ними чувствуешь, ступая, мягкую вековечную прель хвои: бродишь — как по сказочному царству. А издали, вечером, ког-

да поднимется туман, — порой в нем явственно отражается вода с этими лесными островками колдовским обратным маревом.

У Рауха около семьи Ауэр образовался тесный кружок, завлекший и еще кое-кого из русских, — вместе отцы и дети (кроме меня и моей сестры, четыре дочери Ауэр, черноглазых подростка: старшей, Зое, — семнадцать лет). Под влиянием Надежды Евгеньевны молодежь старалась «не отставать», много читала и жадно слушала, хотя нередко и посмеивалась тишком над «стариками».

Об этой скороспелой русской молодежи экспансивный Брандес тогда же написал несколько фельетонов в датские газеты. Он изумлялся: «Сплошь вундеркинды...» И полушутливо добавлял: «Но... в России нет достижений», «rien n'arrive»³¹, — обычный его припев по адресу России.

Мне, только еще вступавшему тогда в жизнь юнцу, льстило внимание знаменитого критика, и я забрасывал его вопросами и размышлениями по всякому поводу. Помню, особенно поразило его однажды то, что я в мои молодые годы осилил книгу Милльса о «Философии бессознательного» Гамильтона³². «Прозекзаменовав» меня, он дотронулся пальцем до моего лба и торжественно произнес из «Энеиды»: «Tu Marcellus eris!»³³. Удивляла его и наша русская любовь к природе. Он был исключительно книжным человеком, задумчивая прелесть Саймы и сказочные озарения осенних закатов в часы послеобеденных прогулок его мало трогали. Даже раздражало немного «эгоцентричного» Брандеса мое, в частности, восхищение финляндской природой, — я пользовался всяким случаем «уединиться» куда-нибудь в лес и сочинять стихи.

Одно из этих стихотворений, посвященное «Сайме», попало в первый мой сборник, изданный десятью годами позже, оно начиналось:

Безмолвный край, угрюмый край, холодный край.
Везде — покой унылого простора,
Везде — туман и серые озера...
Моих осенних дум, певец, не нарушай!³⁴

Скажу попутно, что это — первые строфы, о каких я услышал компетентный отзыв. Дело было так. Часто бывая у моего приятеля Феди Случевского, лицеиста (и его сестры Сони), я встречался с их немолодым уже дядей, поэтом Константином Случевским. Как-то прочел я ему «Безмолвный край» и несколько еще юношеских моих стихотворений. Случевский одобрил «поэтическую суть», но тут же сказал: «Впрочем, не берись судить о

самой стихотворной ткани... Хотите, покажу большому знатоку, другу моему, графу Голенищеву-Кутузову?» И через неделю несколько сконфуженно вернул мне мою пачку со словами: «Граф нашел, что лучше других — “Сайма”, но в этих строфах грубая ошибка: в шестистопном ямбе недостает цезуры после третьей стопы». С тех пор, кажется, не допускал я этого промаха в шестистопном ямбе...

В эту так ярко запомнившуюся мне осень, повторяю, я сердечно привязался к Владимиру Соловьеву. Замкнутый при посторонних, безотчетно-величавый, он очаровывал всех знавших его ближе удивительно цельной и ласковой простотой. И какая это была всеискусенно-спокойная мысль, без мелочливости ученой — одни итоги, претворенные всем естеством духа! Это ли не мудрость? А как увлекательно рассказывал он и как любил вдруг рассмешить изречением из Козьмы Пруткова, а то и по-русски крепким анекдотом...

Наружность его поражала. Высокий-высокий, хилый, бесплотный. Прозрачно-бледный, восковой лик в длинной, густой, рано поседевшей бороде, пряди седые до плеч (только нависшие брови — как смоль) и близорукий, отсутствующий взор из-под полуопущенных век. Совсем еще не старый (ему было всего сорок три года), а увидишь сразу — дряхлее не бывает: подвижник, забывший о времени, тысячелетия взявший на рамена свои...

И все менял в нем смех. Закатится — прекрасной верхней части лица как не бывало, один судорожно разверстый, темным зевом разорванный рот, и хохот — высоким, истерическим, захлебывающимся воплем каким-то. Всякий раз становилось немного жутко.

Полной противоположностью ему и по внешности является Георг Брандес. Невысокого роста, быстрый, подстриженная борода, все лицо в тонких, насмешливых, «вольтеровских» морщинках, — жестикулирующий, картавый, бойко, хоть и с акцентом говорящий то по-французски, то по-немецки. Живостью он отличался чрезвычайной, бьющей ключом любознательностью и еще более безудержной страстью — блистать. Он горел этой страстью: удивить, увлечь, ослепить. Не из гордости, а от расточительности, я бы сказал — почти трогательно бескорыстного кокетства. Поэтому с ним было легко, несмотря на его деспотическое блистание.

Не встречал я человека более ревнивого к успеху в обществе. Брандес ребячливо обижался, если кто-нибудь хоть на минуту овладевал вниманием в его присутствии. Он говорил без устали, чередуя критические афоризмы, литературные анекдоты, цита-

ты на всех языках, личные воспоминания, шутки, язвительности. Это была импровизация, сверкающая эрудицией, острословием «кстати» и злостью для красного словца. Всею радугой духа хитро переливался этот на редкость одаренный, темпераментный, капризный и балованный «великий человек». Он любил повторять мысль Ницше: «Цель культуры — создание великих людей»³⁵ — и, конечно, сам себя почитал одним из них. Как интересно жилось бы на свете простым смертным, если бы все «великие» были так щедро общительны!

Но у этого блестящего собеседника и сердце было не скупое, даже привязчивое по-своему (хотя и одолевал мозг, всегда готовый «сжечь корабли»). И до чего был молод он на седьмом десятке! К нам, подрастающему поколению, он относился с огромным интересом, говорил как с равными, совершенно забывая, что годится нам в деды. Семнадцатилетней Зоей Ауэр готов был увлечься не на шутку, если бы не помешал насмешливый «заговор» беспощадной в таких случаях молодежи...

Рядом казался каким-то живым укором ему русский большой человек Владимир Соловьев. Из него излучалась доброта мудрости, но он молчал на людях непроницаемо, лишь изредка вставлял четкое слово. Брандес все это ревниво чувствовал. Ему заметно не нравилось молчание Соловьева, такое насыщенное духом молчание, вызывавшее невольную почтительность. И сердило его, что всегда приветливый Соловьев все же никак не покоряется его блеску. А ему этого так хотелось!

Он решил испытать героическое средство — прочесть вслух несколько глав из своего «Шекспира» (впоследствии на эту книгу проникновенно ответил Лев Шестов³⁶, и, надо признать, после ответа русского философа немного осталось от критики Брандеса). Корректурные гранки были на датском языке, приходилось переводить *à livre ouvert*³⁷ на немецкий. Брандес отлично справился с нелегкой задачей.

Помню — так выпукло! — этот шекспировский вечер. И стар, и млад в сборе. Дети настроены благоговейно, отцы — сосредоточенно: целый ареопаг мудрецов. И мы, молодежь, горды сознанием, что вот слушаем — вместе.

Брандес выбрал главу из «Отелло». Видимо, он придавал ей большое значение, в особенности тому месту, где, определяя сущность Отелло, он развивал парадокс, что Отелло глуп, но не ревнив: «Dumm ist er, aber eifersüchtig nicht!» До сих пор слышу голос, каким Брандес произносил это. Как он сам себе нравился в ту минуту!

Во время перерыва Соловьев вдруг разжал уста и спокойно, деловито произнес:

— Относительно Отелло вы, конечно, правы... Впрочем, еще Пушкин сказал: «Отелло от природы не ревнив — он доверчив»³⁸.

И все заметили, что вторую часть вечера Брандес был не в прежнем ударе. Таким обидным показалось ему, что смелая его находка давным-давно известна этому длиннородому скифу, потому что какой-то Пушкин, сто лет тому, в двух словах выразил мнение, которое он, Брандес, считал неотъемлемо своим. Только лучше выразил: «Отелло доверчив». Разумеется, доверчив, а не глуп. Ведь глупость вовсе не исключает ревности.

Припоминаю и другой эпизод. На застекленной веранде после утреннего чая сидит Соловьев, погруженный в чтение. Брандес, подойдя к нему, спрашивает:

— Что вы читаете?

— «Бытие».

— Дайте, пожалуйста, на секунду — я вам покажу...

Соловьев молча протянул книгу. Брандес раскрыл ее, повертел в руках, замялся и стал говорить о другом. «Карманная» Библия Соловьева (он всегда носил ее с собой) была на древне-еврейском... Но критик Шекспира не знал языка своих пращуров.

Зато с нескрываемым удовольствием подмечал ревнивый датчанин все, что не ему одному представлялось в Соловьеве «смешным». Конечно, многое в этом «смешном» являлось не более как своего рода лукавством — ну, скажем, рисовкой русского философа. Однако были и настоящие странности: ведь за одну из них Соловьев поплатился жизнью. Я имею в виду злоупотребление скипидаром как средством «физически и духовно очистительным», по его определению. Он охотно оправдывал пристрастие свое к скипидару тем, что «терпентинные пары отгоняют бесов». В устах человека, подробно рассказывающего, как в бессонницу с ним беседуют тени византийских императриц, это объяснение не звучало шуткой. У него всегда был в кармане пузырек со скипидаром, из которого он опрыскивал себя. Кроме того, он пил скипидар. Меня поразила проскипидаренность Соловьева как-то раз, когда, поднявшись в нему в комнату, я был свидетелем того, как он щедро поливал «очистительным терпентином» из большого туалетного флакона постель, платье, книги и заодно свою голову. Несомненно, потому так быстро и одолела его болезнь почек, — умер он всего несколькими годами позже.

Были у Владимира Сергеевича и другие странности. Он придавал веру самым неожиданным приметам, иные повадки его могли хоть кого сбить с толку. Например, в солнечную погоду

он не упускал случая чихнуть, повернув лицо к солнцу. Не помню уж как, полушутя-полусерьезно, он оправдывал и этот свой обычай.

Чудачества русского мудреца выводили из себя Брандеса, раздражавшегося по его адресу язвительными остротами. Мало того — он посвятил этим чудаществам Соловьева целый фельетон, написанный, как мы узнали позже, с большими преувеличениями и в очень колких тонах. Такая отплата Соловьеву за его всегда вдумчивое и благожелательное внимание — была жестом некрасивым...

Брандесу невольно отомстил за Соловьева другой русский, вместе с женой приставший к нашему кружку у Рауха, нововременец Тихонов (брат Лугового). Этот русак в вечных поисках литературной темы, не думая худого, мотал себе на ус анекдоты Брандеса, кокетничавшего своими воспоминаниями о знаменитых современниках, причем обычно эти его «заметы очевидца» заострялись злонасмешливо. О ком только из «великих» не рассказывал Брандес едких подробностей! Каждый день узнавали мы что-нибудь то о старческом жеманстве Бьернстjerne Бьернстена, которого горничные по утрам затягивали в корсет, то о нелюдимои свирепости Ибсена, то о слабоумии Ницше (дружбой с ним в его последние годы тщеславился Брандес), то о педантизме Ипполита Тэна (придерется к какой-нибудь мелочи, доймет мудрствованием по пустякам). Всех их знал лично датский критик в интимном быту и не жалел язвительных красок. К этим писателям мы, подрастающее поколение, уже привыкли относиться с «пиететом». Насмешливое запанибратство с ними Брандеса производило на нас большое впечатление. Вероятно, поэтому так подробно и запомнилась мне злоречивость датского критика.

Больше всего попадало от него старику Андерсену. Про жесточайший эгоизм прославленного соотечественника Брандес сыпал анекдотами. Если верить ему, пуще всего обижался Андерсен, когда его называли «писателем для детей». Надо же было скульптору Торвальдсену изобразить его на памятнике окруженным детворой. Андерсен, как увидел, бурно вознегодовал: «Уберите прочь эту гадость!»

Скупой, как Гарпагон, и чрезвычайно подозрительный в годы нелюдимои старости, Андерсен всюду видел козни врагов и прятался даже от близких знакомых. Все это знали и смиренно терпели. Знали и то, что он сластена и не прочь полакомиться леденцами, когда их не надо покупать. И вот однажды анонимные почитатели послали нелюдимцу большую коробку с конфетами. Он сразу испугался: вдруг отравы? А соблазнительно, на вид

конфеты были отличные. Как же быть? Подумал и решился на военную хитрость. Вспомнив давнишнюю свою приятельницу, которая выращивала нескольких малолетних ребят, он отобрал небольшую порцию конфет, завернул аккуратно в красивую бумажку и пошел к приятельнице с визитом. Та встретила его удивленно: неожиданное посещение, да еще с подарком для детей, было против всех правил старика. Отдав конфеты, Андерсен поспешно вернулся домой в сильной тревоге: ведь если конфеты отравлены, выбросить придется и весь остаток... На следующий день, чуть заря, он опять пошел к приятельнице, на сей раз еще более удивленной.

— Ну, как?

— Благодарю вас. Вы о чем спрашиваете?

— О конфетах. Дети живы?

Вот этот-то анекдот и тиснул Тихонов в «Новом времени», повествуя о Брандесе у Рауха. Газета дошла в Копенгаген. Датская печать всполошилась. На Брандеса — громы и молнии: как мог он легкомысленно оклеветать великую тень! Ему пришлось долго отписываться и, в свою очередь, назвать клеветником русского журналиста. Но, разумеется, Тихонов передал лишь то, что все мы слышали.

Из пансиона Рауха на обратном пути в Копенгаген Брандес решил погостить в Петербурге, о котором сохранил наилучшее воспоминание после первого своего приезда. Я сопровождал его, обещавшись «показать Эрмитаж», — Брандес был начитан и в истории искусства, а я картинную галерею Эрмитажа в мои семнадцать лет знал хорошо.

Он остановился в гостинице «Франция» на Большой Морской. И вот только уселись мы в его номере после нескольких часов блуждания по залам величавой императорской галереи (под непрерывные рассказы датчанина «из жизни» великих художников), как раздался стук в дверь.

— Войдите!

И в комнату быстро вошел околоточный надзиратель с портфелем.

Брандес показал паспорт.

— Вам надлежит выехать за пределы империи в течение двадцати четырех часов, — любезно, но твердо заявил околоточный, — на основании параграфа о евреях без правожительства.

Мне пришлось перевести. Брандес был вне себя... Потом поехал куда-то хлопотать, кажется — в посольство, но хлопоты не привели ни к чему. Оставалось покориться. Я проводил его на Варшавский вокзал. Еще накануне, у Рауха, он горячо простился со мной и с моей сестрой, которую все приравнивал к Марии

Башкирцевой³⁹, и сказал с грустью, будто вспоминая о бывшем у же не раз в его жизни: «Вот встретились, сблизились и расстанемся — навсегда. Вы и не пожалеете о старике».

Точно не помню, но такой был смысл несколько торжественно, как нам показалось, сказанных слов. Разумеется, я возражал, обещал навестить — в Дании... Но его предсказание сбылось. Я ездил за границу, много раз собирался в Копенгаген, да так и не собрался. А он никогда больше не приехал в «негостеприимную» Россию, где rien n'arrive, но с тех пор... все изменилось.

Прошло тридцать лет. Уже в эмиграции, прочтя в газетах о его восьмидесятилетнем юбилее, я взял и написал ему поздравление. Он ответил коротко, но очень ласково и с укоризной напомнил о своих словах перед разлукой у Рауха. Этот человек и в дряхлости ничего не забывал. И мне стало стыдно.

Только недавно узнал я, что он посвятил в своих воспоминаниях о путешествии по России (9-й том: «Страны и люди») страницы встрече со мной и моей сестрой, очень горячо и ласково вспомнив о нас, русских «вундеркиндах» у Рауха.

«Что особенно удивляло меня, — пишет Брандес, — в молодежи славянских стран, это ее ранняя зрелость или, вернее, то очко вперед в образовании и приобретенных знаниях, которое отдельные молодые люди этого племени могут дать всякой другой молодежи, какую мне доводилось знать».

В этих «воспоминаниях» Брандеса подтверждается (хотя и в иных, несколько насмешливых тонах) все то, что я рассказал о причудах Соловьева.

С Владимиром Сергеевичем я встречался еще несколько раз у Надежды Евгеньевны в Петербурге. По-прежнему он юношески весел бывал с нами, угощал терпентинными леденцами, декламировал свои пародии на декадентских поэтов. Вспоминается мне и его чтение у Ауэр глав из «Оправдания добра». К этой замечательной книге я возвращался впоследствии с особым вниманием, здесь русская этическая мысль выразилась, может быть, убедительнее, чем где бы то ни было...

Скончался он в 1900 году, в июле. Присутствовать на похоронах мне не довелось: сейчас же после университетских экзаменов в это лето я уехал за границу.

Так и скрылись от меня оба почти вместе — Георг Брандес, «большой человек» Запада, радужно сверкавший самолюбивой мыслью, и большой русский европеец, излучавший свет мудрости и беседовавший с призраками, — Владимир Соловьев. Так и вспомнились вместе.

